

Александр Грин

Зимняя сказка



Александр Грин

Зимняя сказка

«Public Domain»

1912

Грин А. С.

Зимняя сказка / А. С. Грин — «Public Domain», 1912

Жизнь политических ссыльных на дальнем Севере.

Содержание

I	5
II	7
III	9
IV	12

Александр Степанович Грин

Зимняя сказка

Ты сейчас услышишь то, о чем спрашиваешь.

Редклиф

I

Ранний морозный вечер незаметно проступил в бледном небе желтой звездой. Улица стала неясная, снег – мглистый; скрипели, раскатываясь на поворотах, сани; редкая ярмарочная толпа сновала у балаганов: купцы-самоеды, мужики в малицах, бабы и девки; возле галантерейной лавки хмельной парень размахивал кумачовой рубахой; над калиткой кое-где болтались прибитые гвоздиками куньи и горностаевые шкурки: пушная торговля; мерзлые говяжьи туши, задрав ноги вверх, войском стояли на площади.

Ячевский, с целью занять три рубля, пришел в город из подгородной деревни, зашел в несколько квартир, но денег нигде не добился, остановился на углу, думая, к кому бы зайти еще, наконец, смерз, повернул в переулок и поднялся в верхний этаж гнилого деревянного дома. У обшарпанной двери, облизываясь, подобострастно мяукала кошка; Ячевский пустил ее, хотел войти сам, но женский голос сказал: – «Кто там, нельзя». Ячевский притворил дверь и громко, отчего слабый его голос стал похож на тонкий голос спросившей женщины, крикнул:

– Я это, Ячевский: можно?..

За дверью начался спор, женщина испуганно спрашивала: – «где же мне... где же мне», – а быстрый, злой голос мужчины твердил: – «ну, выйди, я тебя прошу... слышишь... надо же мне принимать где-нибудь». Слово «принимать» звучало мелочной болью и желанием произвести впечатление. Наконец, дверь открыл длинноволосый с лицом раскольника человек в синей, низко подпоясанной блузе, сказал быстро: «Входите», – и, отойдя к столу, прикрытому обрывком клеенки, напряженно остановился, пощипывая бородку. Ячевский увидел брошенные на грязный диван юбку, лоскутки, нитки, подумал: «нет мне сегодня денег», – и неловко сказал:

– Извините, Пестров, я помешал... супруга ваша работает, а я ведь так себе зашел, давно не был.

– А, да... ну, отлично, – бегая глазами, проговорил Пестров. Видно было, что визит этот почему-то неприятен и мучителен для него, но уйти вдруг Ячевский не решился; взяв стул, он сел и сгорбился.

– Вот как... живете вы, – медленно, чтобы сказать что-нибудь, произнес Ячевский и тут же подумал, что этого говорить не следовало – голые стены, груда книг на окне, сор и юбка кричали о нищете. О Пестрове было известно, что он где-то там пишет, уверяя, будто одна нашумевшая, подписанная псевдонимом книга принадлежит ему; над этим смеялись.

– Вы... выпьете чаю? – спросил Пестров; крикнул за перегородку: – Геня, самовар... впрочем, не надо. – Затем, обращаясь к Ячевскому, небрежно сказал: – Я забыл купить сахару... булочная, кажется, заперта... Нет.

– Я совсем, совсем не хочу чаю, – поспешно ответил Ячевский, – вы, пожалуйста, не беспокойтесь. – После этого ему стало вдруг нестерпимо тяжело; он растерялся и покраснел. – Нет... я вас спрошу лучше, как ваши работы, вы, вероятно, всегда заняты?

– Да, – словно обрадовавшись, сказал Пестров и сел, смотря в сторону. – Я очень занят.

За перегородкой что-то упало, резко звякнув и тем неожиданно пояснив Ячевскому, что в соседней комнате, затаившись, сидит человек.

– Не давай ножницы Мусе, – зло крикнул Пестров, – я говорил ведь! – Потом, видимо, возвращаясь мыслью к самовару и булочной, сказал, легко улыбаясь.

– Мои обстоятельства несколько стеснены, что редкость в моем положении, но я скоро получу гонорар.

Ячевский приятно улыбнулся и встал.

– Да, это хорошо, – сказал он, – ну... будьте здоровы, извините.

– Помилуйте, – шумно рванулся Пестров, крепко сжимая и тряся руку Ячевского, лицо же его было по-прежнему затаенно враждебным, – помилуйте, заходите... нет, непременно заходите, – закричал он на лестницу, в спину удаляющемуся Ячевскому.

Ячевский, не оборачиваясь, торопливо пробормотал:

– Хорошо, я... спасибо... – и вышел на улицу.

II

Придя домой, Ячевский чиркнул спичкой и увидел, что в комнате сидят двое: Гангулин за столом, положив голову на руки, а Кислицын возле окна. Спичка, догорев, погасла, и Ячевский, раздеваясь, сказал: – Отчего же вы не зажжете лампу?

– В ней, Казик, нет керосина, – зевнул Гангулин. – Мы шли мимо и забрели. Керосин имеешь?

– Нет. – Ячевский вспомнил о денежных своих неудачах и сразу пришел в дурное настроение. – Хозяева же легли спать, – прибавил он. – я мог бы занять у них. Нехорошо.

– Наплевать, – бросил Кислицын. – Физиономии наши друг другу известны.

В комнате было почти темно. Голубые от месяца стекла двойных рам цвели снежным узором; пахло табаком, угаром и сыростью. Ячевский сел на кровать, снял было висевшую у изголовья гитару, но повесил, не трогая струн, обратно; он был печален и зол.

– А вы как? Что нового? – сказал он.

– Ничего, собственно. «Пусто, одиноко сонное село», – продекламировал Гангулин, встал, сладко изогнулся, хрустя суставами, сел снова и вздохнул. – У Евтихия мальчик родился; щуплый, красный, еле живой; Евтихий в восторге.

– Ты видел?

– Нет, я заходил в лавку, там встретил акушерку, она принимала.

Наступило молчание. Гангулин думал, что в темноте сидеть не особенно приятно и весело, но лень было подняться, надевать пальто, идти по тридцатиградусному морозу в дальний конец города, а там, нащупав замок, попадать в скважину, зажигать лампу, раздеваться и все затем, чтобы очутиться в ночном молчании занесенной снегом избы, одному прислушиваясь к змеиному шипению керосина. Ясно представив это, он снова опустил голову на руки и затих. Кислицын же, отвернувшись к окну, вспоминал девушку, умершую два года тому назад; при жизни она казалась ему обыкновенным, не без досадных недостатков, существом, а теперь он ужасался этому и не понимал, как мог он не чувствовать ее совершенства, и душа его замкнуто болела тонким очарованием грусти, похоронившей горе.

Ячевский неохотно ждал продолжения уныло-беспредметного разговора; все подневольные жители города и пригородных деревень прочно, основательно надоели друг другу. Но гости молчали; изредка, за окном, судорожно скрипели полозья, слышался глухой топот; тараканы, пользуясь темнотой, суетливо шуршали в обоях. Молчание продолжалось довольно долго, делаясь утомительным; Ячевский сказал:

– Гангулин, вы спите?

– Нет. – Гангулин откинулся на спинку стула. – А так, просто, говорить не хочется. А разговор я послушал бы; даже не разговор, а чтобы вот сидел передо мной человек и говорил, а я бы слушал.

Ячевский лег на кровать, закрыл глаза и сказал:

– Я раньше был очень разговорчив и общителен, а теперь выветрился.

– Почему? – рассеянно спросил Кислицын.

– А так. Жизнь. Сухая молодость и три года в снегах – прохладное состояние души.

– Слушайте, – после небольшого молчания таинственно заговорил Кислицын, – вот вам обоим задача. Дня четыре тому назад мне нечто приснилось, не помню – что, и я проснулся среди ночи в страшном волнении. Это я потому рассказываю, что ко мне сейчас, в темноте, вернулось то настроение. Было темно, вот так же, как теперь, я долго искал свечу, а когда нашел, то сон этот, – как мне показалось спросонок, заключавший в себе что-то лихорадочно важное, – пропал из памяти; осталось бесформенное ощущение, которому я никак не могу подыскать названия; оно, если можно так выразиться – среднее между белым и черным, но не

серое, и чрезвычайно щемящее... На другой день, неизвестно почему, только уж наверное в связи с этим, стали в голове рядом три слова: «тоска, зверь, белое». Они нет-нет вспомнятся мне, и тогда кажется, что если обратно уяснить связь этих слов – я, понимаете, буду как бы иметь ключ к собственной душе.

Он замолчал, потом рассмеялся и стал курить.

– Это мистика, – наставительно произнес Гангулин, – а ты – тоскующий белый медведь!

Кислицын снова рассмеялся грудным детским смехом.

– Нет, правда, что же это может быть, – сказал он, – «тоска, зверь, белое»?

– Бывает, – тихо заметил Ячевский, – еще и не то в тишине. Бывает иногда... – Он смолк и быстро закончил: – Этим выражается настроение. А твои три слова, как умею, переведу.

– Ну, – сказал Гангулин, – только не страшное.

– Вот что, – Ячевский приподнялся на локте, и в воздушной месячной полосе блеснули его глаза. – В ослепительно-белом кругу меловых скал бродит небольшой, нервный зверь-хищник. Не знаю только, какой породы. Небо черно, луна светит; зверь беспомощно мечется от скалы к скале, ища выхода, припадает к земле, крадется в тени, бьет хвостом, воет и прыгает высоко в воздухе, а иногда станет, как человек. Положение его безвыходное.

– В темноте бродят всякие мысли, – задумчиво проговорил Кислицын, – нет, мне решительно не нравится жить в этом городе.

Никто не ответил ему, но все трое, скользнув памятью в глубину прошедшего года, сморщились, как от скверного запаха. Жизнь города слагалась из сплетен, выносимой на показ дряблости, мелочной зависти, уныния, остывших порывов и скуки.

Из тишины выделился однообразный, призрачно далекий, тоненький звон колокольчика, замер, затем, после короткого перерыва, раздался вновь, окреп и, медленно приближаясь, пронесся мимо окна, рисуя воображению пару лохматых лошадей, сонное лицо внутри качающегося на ходу возка и свежий, бегущий, в рыхлом снегу, след саней.

– Иной раз, – сказал Ячевский, – после бесконечных взаимных жалоб мне кажется, что в нашем терпеливо-безнадежном положении мы все ждем появления какого-то неизвестного человека, который вдруг скажет давно знакомое. Но от этого произойдет нечто такое, как если сонному бросить в лицо лопату снега или крепко натереть уши.

– Послушайте, – оживился Гангулин, – я вспомнил рассказ о том, как одна сельская учительница...

Он не договорил, так как в сенях скрипнуло, треснул настил, раздались увесистые шаги, и дверь стремительно распахнулась, взрывая теплую духоту помещения хлынувшим из сеней холодом. Ячевский встал. Вошедший остановился у печки.

III

– Кто это? – спросил, недоумевая, Гангулин. В полумраке чернела высокая фигура закутанного человека; он сказал низким, незнакомым всем голосом:

– Вы – ссыльные?

– А вы кто? – спросил, зажигая спичку, Ячевский, – мы – да, ссыльные.

Перед ним стоял покрытый до пят меховой одеждой широкоплечий, неопределенного возраста, человек. В обледеневшем от дыхания вырезе малицы¹ скупно улыбалось красное от мороза лицо, безусое, скуластого типа, спутанные русые волосы выбивались из-под шапки на круглый лоб, черные, непринужденно внимательные глаза поочередно смотрели на присутствующих. Спичка погасла.

– Я тоже ссыльный, – однотонно и быстро сказал вошедший, – я бегу из Усть-Цильмы, сюда меня довез здешний мужик... Я рассказываю все, вам нужно знать, почему и как я зашел сюда...

– Зачем же, все равно, – немного теряясь, перебил Ячевский, – садитесь, все равно.

– Нет, я скажу. – Речь беглеца потекла медленнее. – Здесь город, я еду на вольных перекладных,² паспорт фальшивый, мужик ищет лошадей на следующий перегон. Сидеть в избе, среди разбуженных мужиков и баб, быть на глазах, врать, ждать, может быть, час, – неудобно. У них памятливые глаза. Ямщик указал вас, я зашел, а теперь разрешите мне ожидать у вас.

– Странно спрашивать, – сдержанно отозвался Кислицын.

– Да садитесь, какие же церемонии, – засмеялся Ячевский. – Как вам удобнее. Но вот темно, это случайно, а неприятно.

– Мы придумаем, – сказал неизвестный и что-то проговорил заглушенным одеждой голосом; он скидывал малицу, ворочаясь и принимая в темноте уродливые очертания и пыхтя. Мех шумно упал на пол. – Да. – отдуваясь, но заботливо и покойно продолжал он, – я говорю – нет ли у вас лампадки?

– Ну, как же, мы про это забыли, – радостно удивился Ячевский, – конечно, есть.

Он скрылся в углу, затем осторожно поставил на стол запыленную лампадку и зажег фитиль. Остатки масла, треща, прососались сквозь нагар огоньком величиною с орех, месячное окно померкло, тени людей, колеблясь, перегнулись у потолка.

Приезжий, в свою очередь, быстро пробежал взглядом по усатому, с детскими глазами, лицу Кислицына, брезгливым чертам Гангулина, задумчивому, легкому профилю Ячевского и, двигая под собой стул, подсел к свету, застегнув на все пуговицы двубортный темный пиджак, из-под которого, шарфом обведя короткую шею, торчал русский воротник кумачовой рубахи.

Гангулин, потупясь, рассматривал ногти, Ячевский обдумывал положение, а Кислицын спросил:

– Вы давно в ссылке?

– Шесть дней, – показывая улыбкой белые зубы, сказал проезжий.

Гангулин взглянул на него круглыми глазами, проговорив:

– Быстро.

– Быстро? Что?

– Быстро вы убегаете, очертя голову, стремительно.

– Так как же, – сказал проезжий, – я не могу путешествовать с меланхолическим, томным видом, скандировать, останавливая лошадей на лесных полянах, чувствительные стихи, а

¹ Малица – меховой мешок с капюшоном и рукавами.

² Вольные перекладные – экипаж с лошадьми, нанимаемый самостоятельно, не на почтовых станциях.

затем, потребовав на станции к курице бутылку вина, ковырять в зубах перед каминной решеткой, вытягивая к тлеющим углям благородные, но усталые ноги... Я впопыхах...

Он, подняв брови, ждал, когда рассмеются все, и, дождавшись, громко захохотал сам.

– Значит, – сказал Гангулин, – значит, вы улепетьваете?

– Вот именно. – Проезжий, вытащив из кармана портсигар, угостил всех и закурил сам, говоря. – Слово это очень подходит. Но мне, видите ли, здесь не нравится. Я не привык.

– Вас могут поймать; поймают – риск, – серьезно сказал Ячевский.

– Ну... поймают... – Он сморщился и развел руками, как будто, услышав иностранное слово, переводил его в уме на свой, скрытый от всех язык. – Поймают. Разве вы, делая что-нибудь, останавливаетесь в работе потому только, что не угадываете ее успеха или фиаско? Так все.

Три человека с чувством любопытствующего оживления смотрели на него в упор, Кислицын сказал:

– Куда же, если не секрет, едете?

– А, боже мой, – уклончиво ответил проезжий, – мало ли где живут... – Он заметил по выражению лица Кислицына, что собеседники готовы рассмеяться и что его слушают с удовольствием. – Вы думаете, конечно, что я словоохотлив, – верно, поговорить люблю, это здорово, к тому же дух мой опережает меня, и теперь он далеко, а это действует, как вино. Так что же? Да, вы спрашиваете... У вас здесь еще зима, а там, – он махнул рукой в угол, – начало весны.

– Весна дальнего севера, – брезгливо сказал Гангулин, – не очень приятна. Бледное солнце, изморозь, сырость, чахоточная и нудная эта весна здесь.

– Весна в наших краях, – заговорил, помолчав, проезжий, – весна сильная, такая веселая ярость, что ли. В один прекрасный день всходит весеннее солнце и толчет снег; он загорается нестерпимым блеском, сердится, пухнет, проваливается и вот: черная с прутиками земля, зеленые почки, белые облака, вода хлещет потоками, брызжет, каплет, звенит; так вот некоторые у рукомойника женщины утром – смокнут до нитки. Потом земля сохнет, – тоже быстро, появляется трава, коровы с бубенчиками и вы, – в белом костюме, на руке же у вас висит нежно одна там... шалунья. Ей-богу.

– Даже слюнки потекли, – сердито сказал, смеясь, Гангулин.

Кислицын, не переставая улыбаться, кивнул безотчетно головой, и всем троим глянул в лицо апрель, когда синяя разливается холодными реками весна.

– Вы жили в деревне? – после недолгого молчания спросил Кислицын.

– Да.

– Как там?

– Плохо.

– А ссыльные?

– Нос на квинту.

– Да, – угрюмо сказал Гангулин, – вы жили, может быть, всего дня два, но проживи вы два года... Это я к тому, что тяжело жить.

Проезжий ничего не ответил. Затрепанный номер иллюстрированного журнала, валявшийся на столе, привлек его внимание; он перевернул несколько страниц, пробежал глазами рисунок, стихотворение и встал.

– Ямщика нет, – озабоченно проговорил он, – мужик хотел зайти сказать – и не идет. Свинья.

– Я предложил бы закусить вам, да нечего, – покраснев, сказал Ячевский, – пустовато.

– Я не голоден, – быстро сказал проезжий, – правда, не голоден.

Он вздохнул и обернулся. Неслышно оттянув дверь, вполз заиндеветый мужик, перекрестился и стал у порога; озорное, хилое лицо мужика хитро смотрело вокруг.

– Едем, – вскочил проезжий.

– Уготовил, – откашливаясь в кулак, пробормотал мужик. – Лошадей наладил, как стать, в одночасье, свояк едет мой, пару запрег вам.

– Ах ты, умная миляга, – сказал неизвестный, – хитрая, жадная, но умная; ну, так я готов, веди меня.

Он проворно надел малицу, рукавицы, шапку и подошел к столу. Все стояли, мужик у печки вытирал усы, стряхивая сосульки в угол.

– Прощайте, спасибо. – Проезжий крепко потрянул протянутые руки, добавив: – Может, увидимся.

– Жаль, уезжаете, – располагаясь к этому человеку, простодушно сказал Кислицын, – опять сядем и заскучаем.

– Полноте, – ответил, неповоротливо двигаясь, человек в мехах, – скука... Я еду, думаю... все скучаем, это сон, сон, мы проснемся, честное слово, надо проснуться, проснемся и мы. Будем много и жадно есть, звонко чихать, открыто смотреть, заразительно хохотать, сладко высыпаться, весело напевать, крепко целовать, пылко любить, яростно ненавидеть... подлости отвечать пощечиной, благородству – восхищением, презрению – смехом, женщине – улыбкой, мужчине – твердой рукой... Тело из розовой стали будет у нас, да... А я все-таки заболтался. Прощайте.

Он поклонился и вышел, а мужик, мотнув головой, опередил его, загремев по лестнице Кислицын, стоя у двери, улыбнулся в то место тьмы, где, как думалось ему, находится лицо беглеца, и, так же задумчиво улыбаясь, закрыл дверь. Огонь, сильно колеблясь, трепетал в пыльном стекле лампадки мутным погибающим светом.

IV

У оврага, возле кривой избы, где ныряющая в перелесок дорога чернела при луне навозом и выбоинами, – стояла, поматывая головами, пара кобыл; подвязанный к дуге колоколец тупо брякал, а мужик, расставив ноги, затягивал мерзлый гуж. Тут же, по привычке оглядываясь во все стороны, бросал в возок охапки сена проезжий, поверх сена растянул ватное одеяло, устроил выше, для головы, подушку и стал ходить от избы к возку и обратно, нетерпеливо дергая головой. В мутной, холодно осиянной дали темнел черный лес; черные, без огней, избы, изгороди тянулись от леса к городу; тени, как сажа на молоке, резали глаз. Две собаки лаяли за версту от оврага, но так звонко, словно вертелись за спиной.

– Тпру-у, – подымая голову, зашипел мужик, – околеть тебе, нечистая сила, калека, падло несчастное. Тпрусь.

– Шевелись, борода, ехать надо, – сказал проезжий, – раньше смотреть надо было.

Мужик, молча тряхнув оглоблей, нахлобучил шапку, потоптался, шмыгнув носом и свалился боком на облучок, вытянув ноги, как неумеющие ездить верхом дамы, а пассажир, колыхая возок, разлегся внутри и блеснул спичкой, закуривая.

– Ну, трясни вожжами, – сказал он, – поехали... Да смотри, по деревьям зайцем лупи, бутылка водки в кармане, тебе отдам.

– Уж я такой, – деловито оживился мужик, – со мной ничего... ничего, покойно, значит, сенца взял.

– Пойдите, – запыхавшись, крикнул Ячевский. Он подбежал из-за избы и, торопясь, смущенно улыбнулся, заглядывая в возок.

– Это, ведь, вы... сейчас... были там... так вот я...

Он запнулся, и возбуждение его улеглось.

– Ах, вы, – сказал пассажир, – что вы, пальцы отморозите, зачем пришли?

– Я, – снова заговорил Ячевский, покоряясь внезапному чувству беспомощности, в котором задуманное разом обмякло и перегорело, – я очень прошу меня извинить, задерживаю, не можете ли вы... наложенным платежом русско-немецкий словарь, сделайте одолжение.

Горький стыд потопил его. В возке точками блестели глаза.

«Зачем я все это говорю? – подумал Ячевский. – Никакой словарь не нужен, и черт вас всех побери».

– Словарь? А какой? – нетерпеливо спросил проезжий, заворочался и прибавил: – Ну, хорошо, только это?

– Да, больше ничего, извините, – тихо сказал Ячевский. – Моя фамилия Ячевский. До востребования.

– Прощайте, – раздалось из возка, – трогай.

Ячевский отошел в сторону, а коренная, тряхнув дугой, рванула возок, и лошади побежали мелкой рысью. Воровской дребезг колокольца рассыпался по оврагу коротким эхо, на бугре, падая вниз, возок скакнул, мужик занес кнутовище над головой, и снежный вихрь, брызнув из-под копыт, комьями полетел в возок. Скрип полозьев, удаляясь, затих.

Ячевский, растирая отмороженную щеку, долго смотрел в перелесок, зяб и думал, что все, вероятно, к лучшему. Он шел с целью просить неизвестного беглеца достать и выслать ему хороший подложный паспорт; этому помешали различные практические соображения.

«Бежать, – думал Ячевский, идя домой, – это, в сущности, не так просто, чего я? Шальная вспышка; сорвался, побежал... русско-немецкий словарь, противно все это. Два года – пустяки. И здесь люди живут».

Он спустился к занесенному снегом мостику; на перилах его, висая грудью и подбородком, какой-то захмелевший, без шапки, человек скользил, шаркая ногами, и горько плакал навзрыд.